

12+

СКОШЕННАЯ ТРАВА

Полина Апрелева
Скошенная трава

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Апрелева П.

Скошенная трава / П. Апрелева — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Книга о том, как все связано. Связано через время и дела. И о том прочна эта связь или не очень, нужно ли её сохранять или можно разбить. О разных людях, которые, не замечая этого, составляют собой единое целое. И о том, что жизнь — это что-то большее, чем толпа в метро.

деду, который воспитал меня тем, что умер

... нет поворота назад, заросла дорожка.

А.П. Чехов «Вишневый сад».

СКОШЕННАЯ ТРАВА

Иван Ефимович грудным вздохом проснулся. Воды в рукомойнике не было, и он решил, что умоется после, на озере. За окном рассвело, небо покрылось бело-розовой испариной, солнце еле-еле освещало спящие за окошками занавески.

Иван Ефимович, ступая босиком, вывалился на улицу. От свежего воздуха закружило всё ещё болевшую с вечера голову. Он вздохнул, взял литовку и пошел по не остывшей за ночь земле.

Дверь глухо хлопнула – деревянная и вымокшая под дождями – она уже не была способна на большее. Сквозь себя она пропускала притупленные, будто фильтрованные запахи утра, резной свет солнца и петушиные крики. Но внутри дом ещё спал.

Пахло сыростью половиц и землей, молоком и земляникой, навозными кучами, сеном – тянувшийся с улицы воздух целовался в засос с воздухом в доме, и оттого получались такие чудаковатые переливы.

Солнце крестило своими тонкими пальцами плетеные половики, вязаные салфетки на комод, грузный шкаф с самошитой одеждой, стулья с кривыми ножками, стоявшие отрядом иконки, где переливающиеся от бликов головы смазывались, плача взглядом, железную кровать с крахмальными подушками, на которых рассыпались волосы Нины, уже немного оккупированные сединой. Её босые пятки торчали из цветастого одеяла, и солнце как-то неаккуратно окрестило их —

Нина проснулась резко.

Как будто кто-то выдернул её из сна за ноги. Она в страхе ощупала кровать и поняла, что он уже ушёл. Рывком села и уставилась на рукомойник – ничего. Она как-то по-девчачьи вздрогнула, это сухая пятидесятилетняя женщина. Вчера перед сном она специально вылила воду из рукомойника, зная, что её муж не может без утреннего ритуала, думала, что он не уйдет, что это его остановит. Но он ушёл. Она глянула на часы – опять те же злосчастные полпятого утра.

Она сидела так какое-то время, как будто не веря, что опять наступило утро, очередное утро, без перемен, такое же, как и месяц назад. Утро-без-перемен. Обычное, жизненное – её утро.

Ну вот, сказала она как-то глухо, глядя на иконки, уже и утро для него не утро, уже и на умыться всё равно!

Она постоянно разговаривала с одним святым, который изображен был на какой-то дореволюционной иконе, она осталась в их доме – от кого, Нина не помнила. Но ей казалось всегда, будто это её отец. Она и говорила с ним, как со своим отцом – просто, по-свойски.

Иван-то опять ушел, сказала она, и её взгляд упал на гвоздь возле комода – там висел его крестик, маленький, серебристый, отливал на солнце зайчиков, качаясь на нитке. Она бросилась как-то неестественно в подушку. У неё уже не было сил его останавливать. Она просто боялась, очень боялась, но ничего не могла уже делать.

Иван Ефимович шел медленно к озеру, держа в своей жилистой руке литовку, шел босиком, как заколдованный, посреди росы и солнца, перемешанного с туманом. Он шел так, как будто точно знал, что это единственная цель его теперь, как будто был уверен, что они ему не врут.

Они-то мне точно не врут, не обманывают, говорил он потом Нине. Кто, они-то? – дрожа глазами спрашивала Нина. Хитки, отвечал Иван Ефимович. Русалки то бишь, объясняла потом Нина приезжавшему в гости сыну – боясь и почти шепотом – пока Иван Ефимович в другом углу дома читал какую-то «литературную дрянь».

Иван Ефимович каждое утро приходил и садился возле Черного озера, которое в их деревне почему-то носило дурную славу. Боялись к нему ходить даже старожилы – особенно старожилы. Как будто что-то знали и не договаривали. Он сидел там, в заросших берегах, и что-то бессвязно бормотал. Потом видел, как вода немного расходиться, становится светлее, и какой-то красивый приятный голос снова и снова говорит, желая ему доброго утра: давно никто так рано не приходил, давно никто так рано и постоянно не приходил, скоси траву, убери траву, дай нам берег, мы дадим тебе твоё детство, мы дадим тебе твои спокойные мысли, твои радостные глаза, твою печальную жену, только жена печальная, а ты добрый, ты хороший, ты спокойный.

Это была его цена – он косил высоченную полынь возле озера, чтобы русалкам можно было выбираться, а они взамен забирали его тяжелые мысли. Весь в поту, посреди травы он очень ожесточенно работал – каждое утро, подолгу.

Умрешь ты, Ваня, всё равно, этого не избежать, но мы облегчим, облегчим, коси только, коси... Озеро проклятое, зарастет травой-полынью, никто и не вспомнит про нас, коси, Ваня, коси... Это дьячок-дурачок посадил когда-то, изжить нас хотел... дьячок-дурачок дьячок-дурачок дьячок-дурачок...

Под эту песню Иван Ефимович и косил. Но трава выростала за день заново, и потому, когда Иван Ефимович приходил на следующее утро – опять оказывался чуть ли не с головой в траве, и опять садился ненадолго в ней, прямо у берега и слушал: здравствуй, Ваня, давно никто так рано не приходил, не уважил никто, коси, Ваня, коси поскорее, мы вчера нагулялись на берегу, коси, Ваня, коси, под корень коси...

Иван Ефимович поджигал ботву, ложился на землю, а они медленно выползали из воды и окружали его, слизывали его слезы, стирали его печали, проводя рукой по лицу – и он забывал все ужасы, которые видел на войне, он забывал всё, что случилось с ним после, он забывал своих умерших детей, он забывал всё на свете – и чувствовал только себя-мальчика, валяющегося в траве, где-то ещё в дореволюционной России, где-то в деревне его отца, недалеко от пшеничного поля, и облака летели над ним так же беззаботно, как тогда, он воображал, кто из них кто, представлял лицо матери, спокойное, как на иконе, он чувствовал, как они гладят его по голове, и это была его молодая Нина, которая ещё такая шестнадцатилетняя девочка, смеется и не умеет плакать, хотя много работает, он чувствовал это всё сейчас, и хотя слезы лились по его загорелому, измученному алкоголем и солнцем лицу, плакал он от радости, потому что когда они окружали его, ложась рядом, он чувствовал себя ребенком, маленьким, как будто ещё до крещения, не принадлежавшим никому на свете, и ему никто не принадлежал, и ничего не было, кроме этой радости. Кроме запаха молока, подросткового пота в поле, когда он такой молодой и сильный бегал из одной деревни в другую, чтобы попасть на уроки. Ничего не было, как будто он первородный, самый-самый начальный он, до всего того, что случилось. А случилось многое. Но что именно, он уже не помнил. И шел так домой, оставляя их чесать волосы и плести камышовые венки. Шел радостный, заколдованный как будто, как-то весело махая на ходу литовкой – так, что его боялись уже проснувшиеся местные. Но они не понимали, они боялись его безумных глаз – они были наполнены детством и пустотой, незнанием горя, знанием облегчения, простой вездесущей небесной радостью. И он

не слышал окликов, он вообще шел будто не по деревне своей, а по какой-то старой тропинке из своих глубоких воспоминаний.

Он
никого
не
замечал.

Иван Ефимович свернул к своему дому как будто по наитию. Нина с убранными волосами и серьёзно-грустным лицом готовила что-то в кухне. Он прошел мимо неё – напрямиком в комнату, уселся на кровати и смотрел ещё долго прямо перед собой.

Есть-то будешь? – спросила она его, заглянув через висящую на дверном косяке шторку. Да и что есть-то теперь зачем, Ниночка? – спросил он, расплываясь в странной улыбке. Она вздрогнула, не выдержав его взгляда, его выгнутой на углы лица улыбки, и спряталась в кухне уже на целый день.

Надо бы пойти дров наколоть, Ваня, – сказала она погодя, оправившись немного от сковавшего её страха, уже где-то вечером.

Надо так надо, – ответил он ей, уже какой-то спокойный, будто пришел в себя. Будто и совсем как всегда, – думала Нина. Как вдруг он обернулся уже на пороге и сказал ей опять: а ведь они-то мне не врут! Почему тогда их боятся?

И вышел во двор.

На следующее утро она не спала. Она слышала, как он медленно сел в кровати, когда ещё только-только петухи начинали драть горло. Еле слышно простонал что-то. Опять голова болит, – подумала Нина про себя. Потом подошел к комоду, оделся, снял крестик, повесил его на гвоздь, и вышел. Она перевернулась на другой бок, глядя в опустевшую комнату, и ей стало уже страшно, как никогда. Она вылетела во двор в одной своей сорочке и закричала: Ваня, брось их, чего ты к ним таскаешься, уже все думают, что ты сумасшедший! Ваня, останемся дома сегодня утром! А он обернулся, глядя на неё пустыми глазами, смотрел долго, так что её в дрожь бросило, развернулся и пошел, напевая себе под нос: не твои ли это сле-е-зы по миру текли...

Не твои, Ваня, – услышал он возле берега и начал с судорогой косить. Полынь текла соком под его литовкой, он чувствовал утренних мошек, начинающийся солнцепек, путаясь в траве, высокой как он сам, он косил очень зло, пытаясь этим унять свою голову, которая теперь уже как будто раскалывалась. Постоянно в ней проносились обрывки того, чего он не хотел помнить, казалось, что это разрывает его постоянно, ночью снится, и не дает покою. Так он косил, да как закричит: Успокойте уже навсегда!

Навсегда только могила, Ваня, – слышит он, – услуга за услугу, коси, Ваня, коси, и всё пройдет..

Он сел снова на скошенный берег, глядя в глубокую воду, желая перестать что-либо чувствовать, кроме усталости в руках и ногах – физической, такой простой боли – она ведь простая, думал он, такая простая, знаешь, где болит, знаешь, как вылечить. Почти всегда. Господи, оставьте мне только мою физическую простую боль..

Твои глаза, Ваня, такие же как наше озеро, такие же, как наша радость и наш страх, улыбнись, Ваня, всё пройдет, закрывай глаза, закрывай.. – они обступали его кругом, сидели рядом, ластились, кутали в волосах, плели из них венки и надевали на него, он падал в сон, назад, в глубь земли, казалось, что он уже умер, он был прост и чист, как в самом далеком детстве. Ещё до крещения. Он был ничем.

- Иван Ефимович, похоже, совсем поехал, – говорили деревенские.
- Смотри, опять сидит там, – слышались ответы, – каждое утро ходит туда с литовкой, только это не поможет, это проклятое место!
- Озеро еле видно..
- Да, и заросло травой почти, полынью, это один дьячок, Шустрин, посадил, чтобы от нечисти нас спасти.
- Тогда говорят ужас что было, половина мужиков утопилось..
- А чего он там сидит всё время? Будто делать больше нечего!
- Он как вышел из тюрьмы, постоянно туда таскается.
- Нинку жалко.

Они разбежались – пошел ливень. Иван Ефимович, разгорячённый от утреннего солнца и духоты, весь в поту, плелся домой. Он еле передвигал ноги, оставаясь ещё бессмысленным, пустым, оставаясь мысленно где-то в земле, в скошенной траве, в охлаждающих, дарящих забвение объятиях. Пот лил градом теперь не столько от усталости, сколько от волнения, какого-то непонятого предчувствия, что даже в груди кололо; казалось даже (казалось ли?), что дождь прекратился, и тучи заволокли небо, стало вдруг туманно – ничего не разглядеть; от влажности и ветра – легкого, но холодного, пот будто стал сворачиваться и мурашки поползли маленькими блошками по телу. Он вдруг совершенно потерял ориентир, вокруг зашумело, как листва от ветра, обильно и по-осеннему, но Иван Ефимович точно знал, что шел по полю. Со всех сторон, будто откуда-то сверху, он услышал: Ваня, не ищи выхода из тумана, Ваня, там погибель, мы спрячем – стой, Ваня...

Но Иван Ефимович не мог остановиться – что-то заставляло его вертеться из стороны в сторону – словно какой-то неаккуратный великан вертел его в ладонях – любопытно – как глиняную фигурку.

Остановись же, Ваня – летело вокруг эхом – останься неподвижен в тумане...

Но Иван Ефимович ничего не мог поделать, и вдруг где-то совсем рядом услышал слабый голос своего сына, а потом будто над самой его головой, отчетливый голос его жены, его Ниночки, голос, готовый поцеловать его в макушку, как мать целует маленького, ничего не понимающего младенца.

Ваня? – она говорила четко, почти кричала, но как-то робко, робко кричала, будто чего-то боялась, – Ваня, ты мне очень нужен. Останься, Ваня, очнись.

Толщею тумана покрыли желтые невесомые пятна света; Иван Ефимович услышал смех его Ниночки, её молодые вскрики, и вдруг будто увидел перед собой её светлое простое лицо, смятое морщинами, трудом и переживаниями, и чуть не захлебнулся от своего собственного вздоха – своих слез – из каждого солнечного пятна потянулась Ниночкина рука, и все они звали – возьми, Ваня, не оставляй... Он смутился, сырое от слез лицо превратилось в страдающую гримасу, всё вокруг закружилось, он ощутил запах свежескошенной травы, грязи, пота и ещё другой – запах теста, перемешанный с едва уловимым сладковатым запахом кожи (лба, ключиц, рук) – и как-то интуитивно потянулся к нему. И схватил резко и крепко ту руку, от которой он шел. Рука, вдруг обмякшая и испугавшаяся, оказалась рукой Нины. Всё исчезло. И перед ним появилась Нина, испуганная, будто выжатая, она еле держала его руку, как если бы рука эта была слишком тяжелой для неё (всего-то его рука, а он сам?). Он лежал на полпути к дому, а она вся дрожала. Рядом, чуть позади стоял его сын – приехал че-ль? – мелькнуло у него в голове – зачем-эт?

Очнулся он уже в кровати, дома, его всего обмотало простынями, и он никак не мог встать, не мог понять который час, и ведь нужно уже братья за литовку! А он встать никак не

может. Где-то в глубине дома шумела печь, Нина шурилась юбками, кто-то пил чай – хлебал и закусывал пирогом. Сын, наверно-й, подумал Иван Ефимович. На улице было светло, ему казалось, был день или, может быть, утро, и Иван Ефимович как будто слышал с улицы голоса, будто они подобрались к его самому дому, и пытаются окружить его, схватить, забрать его силы. Но это же-ж невозможно, думал он, я перестал косить траву, они не могут выбраться... Не могут..

Он жил обрывками, то падал в обморок, то просыпался. Нина подошла к нему:

– Поешь, может?

– Надо косить траву, – сказал он, и его худое утопшее внутри черепа лицо вдруг сильно испугало её, так что она отвернулась и заплакала, и выбежала, и шторка, висевшая в дверном проеме осталась колыхаться, будто от ветра, невидимого, холодного и сильного, как странно бы это ни было.

Бросай, беги, прячься в тумане, мы здесь, Ваня, помоги, коси траву, коси траву, коси траву, – шипело у него за спиной. Он пытался бежать, повернуться, встать с кровати и ударился лбом о стену. Калитка хлопала на улице от сильного ветра.

Кажется, уже наступила осень. Хотя только что было лето. Только что? Что такое только что? Где оно? Он потерялся. Чем дальше становилось это «только что», тем тише становились голоса, тем сильнее всплывало в его голове всё то, от чего он бежал, пытаясь косить траву. Оно взрывалось в голове, вокруг была земля и грязь, люди – живые и мертвые, все вперемешку, крупным планом грохотали слезы детей, как водопады, которых он никогда в своей жизни не видел, уставшие лица, хмурое небо, снег – почти растаявший и превратившийся в грязь, дорога, какая-то вечная дорога. Потом решетки тюрьмы, за что – да за что! – кричалось ему. Да за что.. – все слабее, слабее, уже нет сил сопротивляться и говорить, что кто-то неправ, уже нет сил стоять против... Хочется просто смотреть на узкие тени осенних деревьев, через окно падающих на стол. И даже траву уже косить не хочется. Какое-там детство, всё враки, детство было «только что» – а «только что» было сто лет назад и его не вернуть. Есть смысл только в узких тенях осенних деревьев, тенях зимних деревьев, тенях весенних деревьев, тенях летних деревьев, падающих на стол, когда есть солнце. Когда нет солнца есть смысл только в самих этих ветвях. Они видели многое – и они образец для подражания. Они сами никогда не ломаются, не сдаются. Они качаются от ветра, они даже грозу выдерживают, сильнейшее потрясение, кромки льдинок зимой на их сучках, всё выдерживают, они сильнее всех нас, сильнее Бога, сильнее всего того, что нам впихивают в голову. Деревья. Сильнее травы. Их сложно скосить – они сопротивляются.

– Иван Ефимович, вам нужно прогуляться?

– Деревья! – он резко выкрикивал, обрушивая на спрашивающего свой дикий взгляд, потому что его оторвали от того, что действительно важно. Какая же к черту прогулка!

Его каждое утро высаживали за стол возле окна, и он смотрел. Деревья. Только они имели смысл. Они говорили ему каждое утро, что такое жизнь. Что такое сила. Что нужно делать. И он никого не видел вокруг, никого не узнавал, потому что никого и не было. Был только он и деревья.

Нина приходила и уходила. Сын приходил и уходил. Они, может быть, стеснялись, конфликтовались, что он здесь, в этом здании, в этом чужом здании, но они не смогли справиться. И их можно простить. Деревья прощали их всех. И его тоже. И русалок. И всех. Они трепетали ветвями на солнце, падая тенью на все, что было плохого. Затмевали этой тенью всё. И всего как будто и не было.

Он был далеко от озера, далеко от своей деревни. Дверь калитки заглохла. Ветер перестал её шатать, и она успокоилась, как и всё вдруг в том доме, где он когда-то жил. Половицы не скрипели, печь не топила, никто не пил чай, окна заколотили досками. Всё заглохло. Только деревья падали тенью на крышу.

Озеро заросло. Какой-то мальчишка, пробегая мимо однажды, ляпнул: Иван да Марья! хрещаю тебе во имя Отца и Сына и святого Духа! – слышал он об этом от своего деда, у которого гостил: помни, Климушка, коли хочешь дать русалке свободу скажи так: Иван да Марья! хрещаю тебе во имя Отца и Сына и святого Духа! Ибо все русалки в тайне желают крещения. Так свободишь их, а ведь все хотят, свободиться-то.

И трава медленно нежно покрыла воду. Никто из проезжающих-приезжающих никогда не мог подумать, что тут было озеро.

Иван Ефимович умер спустя два дня после крещения озера. Он сидел за своим столом, медленно закрывал глаза, как будто засыпал, и видел уже только верхушки деревьев – их стволы съела пустота, а потом все скрылось под тенью растущего за окном дуба и исчезло.

Никто никогда не вспоминал об этом. Некому было вспоминать. Никто не рассказывал любопытным детям легенд. Солнце опять крестило дома, улицы, людей, половики. А Иван Ефимович ушел в свое детство, босиком по скошенной траве. Он бежал, спотыкаясь от радости, ощущая запах юношеского пота, бежал по густой тени от веток деревьев, по скошенной траве, рядом с какими-то радостными светящимися девчонками.

СИЦИЛИЯ

Черепановой В.К.

и моей Ксюше

Солнце косыми лучами делило хрущевские дома напополам – тень-свет-тень-свет – как полосы жизни. И каждое окошко несло теперь свой крест – тень-свет. На окне Зинаиды Николаевны была тень, и ей с трудом удавалось вынести её.

Она теперь еле-еле дожидалась двенадцати, когда приходила её внучка. Ходить Зинаида Николаевна уже не могла, есть не хотела, а ворчливый чокнутый дед её страшно утомил.

– Вся жизнь как банный лист к заднице... Да замолчи ты, валенок плешивый, – тихо шептала Зинаида Николаевна.

Так и шептала всю жизнь по углам, никогда в глаза против не сказала – всю обиду съела и своими же слезами запила.

Мечтала Зинаида Николаевна мало, потому как совсем не приучена была мечтать; мечтать значило быть недовольной тем, что у тебя есть, как бы жаловаться – так её воспитали, так она и поплыла. Так и забыла Зинаида Николаевна свою единственную мечту, съела, спрятала глубоко в желудке, чтобы мать не заметила, не нашла случайно в детском её сердечке. А в желудке мать никогда не догадается искать, так думала маленькая Зиночка, и не прогадала, только и сама потом забыла, куда спрятала. Заглянула как-то в сердце, а там пусто, перекасти поле, и муж, Колька, топчется и ворчит.

Только теперь, когда желудок её устал мучаться такой тайной, перестал принимать пищу, когда Зинаида Николаевна, тяжело дыша, героически вздымая грудь в цветочном хлопке, смотрела в утреннее окно, ожидая свою внучку, эта мечта стала медленно пробиваться как росток на даче, как проявляющаяся фотография.

Вспомнила Зинаида Николаевна, что когда отец уходил, он сказал ей, тонкострунной кривоножкой девочке, с бантами в волосах, такой ещё нелепо сложенной в свои десять лет, что

уезжает на Сицилию, на карнавал, что надоело тут, а её не берет, потому что мама без неё скучать очень будет. И ушел на следующий день, надев свои болотные сапоги, ушел на Сицилию, на карнавал. Навсегда. Тогда Зиночка загадала – обязательно попасть на эту Сицилию, на этот карнавал, и найти там его, отца, в болотных сапогах.

Тут Зинаида Николаевна подняла в руке зеркальце, щелкнул замочек, она глянула туда и обомлела. Грубые морщины, худое лицо, два глаза, будто где-то внутри черепа; и нет уже той Зиночки, и Сицилии так и не было.

Поворот ключа отвлек её. В комнату вошла Саша, юная совсем девочка с печальными глазами. Села рядом, стали говорить, всё обо всем неважном, как в такие моменты делается, говорят чепуху, обыденную такую, чтобы скрыть от самих себя, самих себя обмануть, что всё как и всегда. И тут Зинаида Николаевна возьми и скажи:

– Смотрю на себя в зеркало, какая некрасивая стала..

– А я смотрю на тебя и вижу какая ты красивая! Тело у тебя уже, может, и старое, но ты-то очень красивая! – со слезами рассмеялась Саша.

В глазах Зины заблестели маленькие коротенькие искорки, будто танцы мальчиков и девочек, обрывающиеся с наступлением ночи, будто огонечки сицилийских карнавалов, всех этих карнавалов с десяти лет до восьмидесяти семи. И она вдруг улыбнулась, но улыбнулась одними глазами, будто понявшая что-то, вдохновившаяся чем-то, до этого закрытым от неё. Словно прямо сейчас эта маленькая неопытная девочка – её внучка – открыла ей какую-то тайну, глаза протерла от лепившейся всю жизнь на зрачки пленки, аккуратно так, чтобы она, Зиночка, не испугалась.

А теперь она была именно Зиночка, просто Зиночка, и никакая вовсе не Зинаида Николаевна Порываева из тридцать первой.

И уже теперь эта Зиночка шла на Сицилию, на карнавал. Навсегда.

ТЕТРАДКА

Если бы мы жили в Японии, прабабушка была бы сочинителем хокку, думала Вася, девочка лет пятнадцати. Каждое лето они ездили в старый деревенский дом, который потом весь год стоял одиночкой, продуваемый всеми ветрами. Чердачные доски скрипели, и Вася однажды нашла там потрепанную тетрадку, в которой аккуратным почерком было выведено:

что я замечаю и хочу сохранить.

Было ранее утро жаркого лета, но марево ещё не сгустилось, и она сидела в золотистых пылинках солнца, сквозящих через щели в стенах, и смотрела на эту тетрадку. Сбоку было подписано: Лилички Курбатовой. Выведено было совсем детским почерком, когда ребенок только начинает ровно писать буквы – в строчку, но ещё шатко, они будто падают друг на друга. Вася подумала, что прабабке было тогда лет семь, наверное. Она пролистнула тетрадь, глядя на желтые страницы, карандашные заметки, чернильные кляксы, выведенные в прошлом буквы – тогда, давно, когда её, Васи ещё не было – а буквы уже существовали, и Лиличка Курбатова тоже.

На каждой странице начиналось что-то новое, тем же почерком. Чем ближе к середине, где скрепочки выделяются в двух местах, соединяя все страницы, тем почерк становился более сильным и осознанным, и впечатывался в листы уже совсем по-другому.

Мята в маминых руках

Мама перебирает мяту.

У неё старые руки, а мята пока полна сока, трава налитая, зеленая.

А потом наступит осень и мята засохнет. Станет сыпкой.

Зимой мы будем пить чай.

Валентина родила дочь. И хоть Валентина ещё сама ребенок, она – мать.

Я люблю, когда тепло от чая расплывается по телу товарным составом.
Всё, что вообще можно сделать в такие моменты –
Захлебнуться.

У окна леденеет рама. Дождь впопыхах размочил заслонку. И никто никого не ищет.

В конце улицы зажглись огни в окошках. Так дико и пусто никогда ещё не было. Тонут в темноте твои руки, губы и глаза.

Но твои слова остаются.

Пока я бежала к дому через поле, моя мысль улетучилась. Как это обидно. Очень сложно вспомнить, и её, в сущности, уже нет. Как всё мимолетно.

Пустота. Когда я шла от главных ворот, я чувствовала, как она садится мне на плечи и давит. Давит.

Был невероятный туман. На берегу реки не было реки. Её кто-то украл. И я стояла так же, в надежде, что и меня кто-то украдет.

Женщина на остановке попросила денег. Очень тихо и извинилась. Её глаза – очень красивые, ровно-круглые, большие, зелено-коричневые, ореховые. И я отдала ей всё, что было. Потом она исчезла. Даже если это был обман, я была рада обмануться.

Читая книгу, я изображаю то, что делают герои. Я становлюсь разными людьми.

Южные дома просыпаются рано – вместе с их обитателями, чтобы уловить частичку прохладного воздуха – он заводит заново жизнь каждое утро.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.